

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

ЗОЛОТАЯ
РОЗА

Константин Георгиевич Паустовский

Аннушка

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159421

К. Паустовский «Избранное»: Радянська школа; Киев; 1984

Константин Паустовский

Аннушка

Вторую неделю дул сухой ветер. Косари жаловались: трава в парке пожухла, загрубела, как проволока, и косить ее нет возможности, – то и дело приходится отбивать косы.

Звон отбиваемых кос, душный ветер, столбы пыли по степным дорогам – тяжелое выдалось лето! Земля потрескалась, вода в пруду отошла и обнажила дно, рябое от телячьих следов. Никак не верилось, что есть еще на свете прохлада и дожди.

Косари подрядились скосить траву в парке при доме отдыха. Они старались, обкашивали каждый куст, но обошли маленький холмик под липой. Обошли потому, что холмик этот, заросший желтыми колосьями, бы I могилой девушки Анны.

Из сбивчивых и многословных рассказов ночного сторожа при доме отдыха старика Семена об этой могиле выяснилось, что сто лет назад обитал в здешних местах воронежский мещанин Иван Саввич Никитин. Он держал на Задонской дороге постоялый двор и, бывало, записывал на досуге в толстую конторскую книгу песни своего сочинения. По словам Семена, Иван Саввич собственноручно спилил ветку, на которой удавилась Анна, а спиленное место покрасил белой краской. Сколько лет прошло, а краска не сошла! И

сейчас еще на липе видно белое пятно на том месте, где росла эта ветка.

Анна была актеркой у помещика Шлихтинга. Помещик этот держал знаменитых коней, вороных и гладких, «как ласточки». Овес для этих коней поставлял Иван Саввич.

Однажды Иван Саввич приехал к Шлихтингу взыскивать долг за овес, попал на представление в помещичьем доме и увидел Анну. О чем он с ней говорил, никто не знает. Только известно одно: пришел он к Шлихтингу и просил, чтобы отпустил помещик Анну в Москву играть в столичном театре, потому что у нее был великий дар.

Просил и так и этак: и по-человечеству, и по-божески, и долг за овес обещал начисто скостить, – а долг был тяжкий, многолетний, – и сулил Шлихтингу народную благодарность. Но Шлихтинг был сухопарый немец, неуважительный, хоть и был он шутлив и бегал по своей усадьбе вприпрыжку.

Он усадил Ивана Саввича у себя в кабинете в мягкое кресло, сам сел напротив, крепко сжал Ивана Саввича за колени, посмотрел ласково в глаза и сказал:

– Напрасно ты полагаешь, будто я так разорился, что польщусь из-за Анны на твои овсяные рубли. Получай эти рубли и езжай с богом, В овсе твоём я теперь не нуждаюсь.

Он открыл ящик столе, – а стол был с перламутром – и выложил Ивану Саввичу пук ассигнаций. «Я, говорит, всех коней и усадьбу продал и Анну беспрременно продам князю Орлову: он на таких падкий. А сам уеду в город Ригу, где и

буду жить. Так что, говорит, запоздал ты со своим предстательством. Да оно и ни к чему, потому что, ежели бы не крутые дела, я Анну нипочем бы не продал и никуда бы не отпустил. Что мое – то мое, а что твое – то твое. Ты в мои кошельки и дела не суйся!»

Встал Иван Саввич и сказал: «Ну, видно, нет у вас ни чести, ни сердца, и есть вы рыжий немецкий пес!» И ушел, сдержался, чтобы не прикончить Шлихтинга на месте. А Анна в ту же ночь давилась на молодой липе.

Парк при доме отдыха был обнесен валом. Косари отдыхали на валу, – там всегда дул из степи ветер, сушил мокрые рубахи, потные лбы.

Сначала косари молчали, смотрели, прищурившись, как ветер широкими полосами кладет седые овсы, потом, отдышавшись, закуривали, и тогда Семен, работавший вместе с косарями, говорил:

– Мою тоже Анной зовут. Только век нынче не тот!

– Чего? – переспрашивал кто-нибудь из косарей.

Они несколько раз уже слышали рассказ Семена и об актрисе Анне и о дочери Семена, тихой девушке Анне, но никогда его не останавливали – то ли от лени, то ли от деревенской своей любви к длинным и складным житейским историям.

– Век нынче, говорю, не тот! – повторял Семен. – Время прояснилось. Ты только гляди!

Семен начинал свой рассказ, и косари слушали, почесы-

вая грудь и поддакивая. Что уж говорить, не было у Семена сынов, так не обидела судьба – дала милую дочь. Это уж верно! Тут ничего навстречу не скажешь!

Когда Семен замолкал, кто-нибудь из косарей обязательно спрашивал:

– Так, говоришь, навестить скоро приедет?

– А как же! – торопливо отвечал Семен и виновато улыбался. – Отписала: приеду после Петрова дня. Мне бы только дождать!

– Доживешь, – лениво успокаивали его косари.

– Да надо бы, – неуверенно говорил Семен. – Вот только дыхания у меня маловато.

Он наклонялся и начинал перевязывать лапоть. Дышал он трудно, со свистом. Косари молча переглядывались, а потом кто-нибудь весело говорил:

– Покурили, как на войне перед атакой, да и пошли махать. Небось до Петрова дня управимся.

Во время войны дом отдыха был закрыт. Сразу стало пусто и тихо и в комнатах и в парке. Дорожки заросли. На них целыми толпами безнаказанно грелись на солнце красные жуки с черными пятнами. Их звали «солдатиками». Пылились книги на полках, портьеры, старая мебель. Пересохли букеты, забытые отдыхающими в кувшинах. В комнатах стоял гниловатый запах застоявшейся цветочной воды.

Семен все никак не мог привыкнуть к безлюдью. Как и до войны, он бродил каждую ночь по парку со старым ружьем,

рассуждал сам с собой, удивлялся, что мальчишки перестали трясти в саду вишни-скороспелки; закинув голову, долго слушал, как проходили в вышине невидимые ночные самолеты, и гадал, чьи они: ихние или наши?

Семен жил с дочерью Аннушкой в селе Привалове, в трех километрах от дома отдыха, и приходил сторожить только к вечеру. А весь день дом отдыха и парк стояли забытые всеми и пустые.

Потом до парка начала достигать канонада. В доме появились новые хозяева – военные. В парк вползли горячие и пыльные танки, укрылись под сенью лип и кленов. Бойцы начали рыть блиндажи. Они рыли их в самых глухих и живописных уголках, в гуще зарослей. Непроницаемая зелень над головой и ветки дикой малины, закрывавшие вход в блиндажи, – все это было особенно мило бойцам и создавало у них спокойное настроение.

Аннушка перед самой войной окончила семилетку и поступила на работу в бобровый заповедник, что в лесу, за рекой Усманью. Когда подошли немцы, всех бобров выпустили из вольеров в реку. Но один старый бобер ни за что не хотел уходить. Он остался в вольере, и когда сотрудники заповедника эвакуировались, то Аннушке поручили его кормить. Она ходила из Привалова в заповедник, срезала для старого бобра осиновые ветки, рвала крапиву. Каждый раз бобер, завидев Аннушку, становился на задние лапы и начинал трясти проволочную решетку: радовался человеку.

Работы в колхозе было много – от зари до зари, но Аннушка не пропускала ни одного дня, чтобы не покормить бобра. Каждый день к вечеру она шла в заповедник через сырой заглохший лес, через лавы на Усмани, и ей казалось, что она идет по нежилой земле, – так пустынно было в лесу. Только далеко, все на одном месте, где-то под самым Воронежем, гремели пушки. От сознания, что рядом война, идут тяжелые бои и враг стоит на самом пороге ее полей, ее избы, родная земля казалась Аннушке все милее и ближе.

Аннушка по дороге кивала, как старым знакомым, то гнезду жаворонка, – он по беспечности свил его в придорожной канаве, – то цветам дикой мальвы около пня на пригорке, то семье молодых березок с теплой корой, то оброненной какой-нибудь школьницей старой, измятой ленточке из косы. Аннушка ее не подбирала.

К зиме в Привалове в помещении школы открыли госпиталь. Аннушка начала в нем работать. Она тревожилась за старого бобра, но Семен заготовил бобру запас осиновых чурок, и бобер, поворчав, залег на зиму, – к нему уже не надо было ходить каждый день.

Однажды в госпиталь приехали артисты из Москвы. Они устроили концерт в школе, а потом, по просьбе раненых, Аннушка тоже спела несколько песен. Высокая седая артистка в полушубке расцеловала Аннушку и сказала, что у нее редкий по красоте голос. Аннушка не могла поднять глаз от смущенья. Бойцы сильно хлопали и кричали «бис».

Высокая артистка пошла вместе с Аннушкой в избу к Семену и начала его уговаривать отпустить Аннушку с ней в Москву, в театральную школу. Семен растерялся, ничего толком не понял и все повторял:

– Вам, городским, виднее. А я Аннушку от хорошей жизни в подпол не прячу.

Когда артистка ушла, Семен долго сидел на лавке и дергал вату из разорванного треуха. Аннушка стояла у стены бледная, сердце у нее колотилось, и слезы все текли и текли. Она никак не могла их унять. Она смотрела на седые волосы Семена, на худую его шею, обмотанную зеленым шарфом, и плакала от жалости и оттого, что не могла решить, что же ей делать.

– Мать Марфа померла, – сказал, наконец, Семен. – Слабая была женщина. А ты что же? Крепче ее, что ли? Колосок ты, а не человек. Надорвешься. Там жизнь, в Москве, вся в суете.

– Как хотите, папаня, – шепотом ответила Аннушка.

– Мое хотение простое, – ответил Семен. – Как тебе лучше, так и мне. Езжай. А я уж тут доковыряюсь один. Вроде как твой бобер.

Он встал и пошел из избы. Аннушка бросилась за ним. Ночь была черная, ледяная. Из степи завивалась поземка. Семен остановился в открытых дверях, сказал:

– За мной не ходи.

Аннушка вернулась в избу, села на лавку и сидела, ждала.

Семен пришел не скоро – весь в снегу, тихий, постаревший. Он неловко погладил Аннушку по волосам и опять сказал:

– Езжай! Только греха на себя не бери – не забывай. . .

Аннушка схватила голову Семена и припала губами к его шершавым, мокрым от снега волосам.

Через день Аннушка уехала с артистами, а вскоре, в одночасье, наши сдвинули немцев страшным напором и погнали на запад.

Сошли снега, озимые пошли из земли густые, как щетка. Мэй установился прохладный и ясный. И в один майский день, когда небо зеленело от холода, пришло великое известие, что мы победили и окончена война.

Шло время, а Аннушка все не ехала. Снова открыли дом отдыха. Семен по-прежнему сторожил парк при доме и по-прежнему любил рассказывать отдыхающим про смерть девушки Анны и про стихотворца Ивана Саввича. Но про свою Аннушку он отдыхающим ничего не говорил – боялся, как бы не подумали, что вот, мол, пустой старик, брехливый. Кто их знает, этих отдыхающих. Разные попадаются люди. И своим, колхозникам, Семен тоже ничего не рассказывал, – они и без него знали, что Аннушка в Москве и учится там при хорошем театре.

Однажды директор дома отдыха позвал Семена и велел ничего не рассказывать отдыхающим про смерть актриски Анны.

– Это чего же! – обиделся Семен. – Я небось не вру. Дело

всем известное, стародавнее.

– Нечего тебе языком молоть, – сказал директор. – Народ теперь нервный. Днем ты им напоешь, а вечером они около этой липы проходить боятся. Спилить ее, что ли?

– Грех пилить, – сказал Семен. – Уж лучше я помолчу.

Кончался июнь, лето переломилось, а Аннушка не ехала. По ночам зарницы мигали над степью, над курганами – зарили хлеб.

Семен отпросился у директора, пошел в дальнее село на телеграф – надумал послать Аннушке телеграмму. Вышел он к сумеркам, когда спала жара: днем идти не было возможности. Но все равно идти было тяжело. Семен брел, часто присаживался на обочину, трудно дышал, мял в пальцах пыльную полынь, нюхал ее, – ему казалось, что от этого становилось легче. Он долго смотрел, как степь синела к вечеру, как на небе загорались закатным огнем облачные снеговые горы и острова и тихо стояли над усталой от богатых хлебов, остывающей землей, ждали прохладной ночи.

Летали бражники. Серый ветряк на кургане покрылся темной позолотой.

– Эх, Аннушка – сказал Семен и с трудом поднялся – вот бы ты поглядела! Небось выросла здесь, избегала всю степь, босоногая, а теперь где?

Ветряк стоял недалеко от дороги. На пороге сидел человек в солдатской гимнастерке, с костылем. «Мельник-то новый», – подумал Семен и пошел к ветряку. Ему хотелось по-

курить с новым человеком, поговорить о своей заботе. Да и какая это забота, когда дочь у него в Москве, учится, утешает отца, а что вот не приезжает и давно не писала, – так мало ли что! Москва велика, и работа московская – не ихняя сельская работа. Там, надо быть, люди по суткам не спят, все некогда. Да и как иначе управишься с таким государством, – ведь тысячи и тысячи километров одних хлебов, лесов, степей!

Человек около мельницы курил махорку. Синий дымок струился прямо вверх, под крыло мельницы. «Все к добру!» – подумал Семен, поздоровался, сел, закурил, пригляделся к новому мельнику: человек, видно, хороший, молодой, недавно с войны.

– Вот иду, – сказал Семен, – дочке телеграмму давать.

– Чего ж это? – спросил мельник.

– Не миновать телеграммы. Ты слухай, какие, значит, дела.

Семен начал, не торопясь, рассказывать. Мельник курил, усмехался. А Семен все говорил. И говорил он уже не о том, что случилось с Аннушкой, а вспоминал ее – вот была девчонка со светлой косой, тихая, как мотылек. И ходила легко. Бывало, шагу ее не услышишь. Люди говорили – красавица! Да не в этом суть. Суть в том, что ласковая была и работающая и отца вот как уважала. Всего двое их было на свете, а лучше бы жить и не надо. А вот какая теперь, неизвестно.

– Радоваться, отец, надо, – сказал мельник. – Не обижать-

ся.

– Что ты! – испугался Семен. – Да неужто я обижаюсь? Радость-то радостью, а забота свое берет. Добро бы их было у меня несколько, а то одна. Будь она неуважительная или ветрогонка какая, – тогда уж ладно. Тогда и жалости нет. А то ведь сердце у нее как огонек. Чистое сердце. Ну, прощай. К утру мне, брат, надо назад поспеть, ко двору.

Семен попрощался, ушел. Темнело. Молодой месяц повис тонким и нежным рогом над дальней рощей. За рощей подымался сухой туман. Потом с юга затемнело, далеко проговорил что-то свое грозное гром, небо передернуло злоеющим пламенем.

Семен пошел быстрее. От быстрой ходьбы он все чаще останавливался, с натугой кашлял. От кашля жар бросался в голову и в глаза, на глазах навертывались слезы.

А небо все чернело, будто чугунная стена подымалась из-под земли, и гром уже, как хозяин, грохотал и впереди, и справа, и слева. Белая пыль, освещенная месяцем, бежала по степи навстречу Семену. «Не дойти!» – думал Семен.

Зашумели хлеба, травы. Степь будто рассеялась от небесного грома. Далеко в балке жалобно закричал стреноженный конь.

А потом пошло полыхать раз за разом. От тучи дохнуло ледяным ветром, и грозно зашумел, набегая, темный ливень.

Утром грузовая машина подобрала Семена в степи – промокшего, в лихорадке. Телеграмму он так и не успел послать.

Женщина врач из дома отдыха выслушала Семена, покачала головой. Приходила она в избу к Семену по два раза в день, но Семен знал, что напрасно, что теперь ему уже не выжить. Приглядывали за Семеном соседи. Семен лежал в избе, но в ней было душно, и он перешел в сени. Старуха соседка настелила ему сена у порога, и он лежал около открытой двери под полушубком, смотрел на дорогу, все ждал и никак не хотел уходить из сеней в избу.

По ночам было легче, чем днем, потому что издали был виден свет редких машин. С каждой машиной могла приехать Аннушка.

Свет появлялся у далекого леса, как белая звезда, медленно полз навстречу, погасал за бугром, потом снова возникало серебряное его свечение, и было слышно ночное, спокойное журчание мотора. Семен шевелился, подымал голову. Свет бил ему в глаза, пробегал по сенцам и уходил, подрожав на стене, – все мимо, дальше, в степь.

Семен закрывал глаза, слушал. Много ночью в степи всяких голосов. Не поймешь.

Далеко чуть слышно кричал паровоз. «Может, пассажирский пришел, запоздал», – думал Семен и прикидывал: вот она вышла из вагона, вот рядится на грузовую машину, вот машина вошла в лес, прошла у кордона, через мост, по краю заповедника («А бобер-то небось тоже лежит, дожидается», – думал Семен), вот дошла до околицы. Семен приподымался, слушал. Но в степи было тихо, так тихо, что, ка-

залось, звезды поплескивают в ведерке с водой. Ведро это стояло рядом, и в нем плавал деревянный ковшик.

Семену чудилось, что у него за спиной сидит немец Шлихтинг, посмеивается, говорит: «Я в овсе твоём, Семен Евсеич, теперь не нуждаюсь». – «Время твоё кануло, – шептал в ответ Семен. – Пальцы у тебя поотбили. Мы теперь своей волей живём, старый пес». Шлихтинг замолчал, исчезал неведомо как, а в сенцах появлялась девушка из отдыхающих, школьница Леля, и, наморщив лоб, давала Семену горькую воду и все журила, что он не хочет перебираться в избу. И Семен замечал с удивлением, что уже день и степь за бугром что-то сильно гудит. «Неужто комбайны? – думал он. – Неужто хлеб созрел, а её все нету?»

– Обманул я Аннушку, – говорил он Леле. – Обещал дожить, да не осилю я даже малое время. Я дышу в одну десятую часть.

Семен все хотел попросить Лелю послать телеграмму Аннушке. Ночью он как-то составил в уме эту телеграмму: «Живи за отца чисто, по правде, а на могилу, смотри, приезжай, – и под землей ждать буду». Но только не примут такую телеграмму. Там, на телеграфе, народ торопливый, больше все числа передают. Им не до глупого деда. Жил-был, а толком ничего объяснить не умеет.

Днем к Семену приходили разные люди: и докторша, и отдыхающие, и директор, и соседи, но Семен закрывал глаза, прикидывался, будто спит, – это ему было легко, он очень

ослаб.

Жара убывала, дело шло к осени. Однажды ночью забор-мотал по листьям, по крыше дождь. Тьма лежала глухая, теп-лая. Из тьмы потянуло запахом прибитой дождем пыли, кра-пивы. Капли позвякивали по разбитому чугуну; он валялся во дворе, из него Семен кормил кур. Семен послушал, усмех-нулся: чугун-то Марфа купила в городе, радовалась, а теперь никому он больше не нужен.

Дышать от дождя было легче. Семен задремал. Прележал он так неведомо сколько, а очнулся от белого света, бывшего прямо в лицо. Около избы, стоя на месте, рокотала машина. Семен оперся на дрожащие руки, привстал, крикнул: «Ан-нушка, ты?» – и упал, затих, а Аннушка с глазами, полны-ми слез, схватила его голову, припала к ней губами, гладила костлявые его плечи, шершавые щеки. И от рук ее шел див-ный запах, должно быть ночной травы.

– Ну вот, – говорила она, – ну вот, что ж ты? Что с тобой стряслось?

– Ничего, – бормотал Семен. – Это я так. Ослаб малость.

Кто-то засветил в избе огонь. Люди о чем-то говорили, спорили, потом внесли Семена в избу, уложили на широкую лавку, где Аннушка постелила чистую простыню.

Люди уехали. Аннушка напоила Семена крепким чаем, а потом просидела рядом до света, не отпускала его руку и все улыбалась, отгоняла слезы.

Семен смотрел на нее не отрываясь: какая красавица. И

платье на ней городское, легкое, такие надевать только в праздник. А все осталась прежняя его Аннушка, ласковая, и сердце у нее как огонек.

В сентябре Семена похоронили рядом с могилой девушки Анны. Новую могилу обложили дерном, полевыми цветами, а потом осень засыпала ее палым листом так густо, что совсем не стало видно сырой, рыжей глины. Похоронили Семена в парке на любимом его месте, по просьбе Аннушки.

Каждое утро она приходила на могилу, и отдыхающие, заметив Аннушку, переставали шуметь и перекликаться и старались незаметно пройти мимо, чтобы ее не тревожить. А она сидела на скамейке около могилы, смотрела в степь, думала.

В ясности неба, в осеннем его холодке летели на юг птицы. Звенели в сухих головках плодов созревшие семена. Ветер косо нес прозрачные на свету желтые листья. По вечерам над степью залегала гряда холодных» синеватых облаков.

Перед отъездом Аннушка пошла в заповедник проведать бобра. Она шла и, как прежде, шутливо кивала старым своим знакомцам: сестрам-березам, лавам на Усмани, соснам.

Старый бобер сидел все в том же вольере. Аннушка окликнула его. Бобер тяжело засопел, стал на задние лапы и начал трясти проволочную решетку: узнал Аннушку.

Вскоре Аннушка уехала. А на следующее лето косари опять косили траву в парке, но уже без Семена, и рассказывали отдыхающим две истории о двух Аннах. Одна история

была стародавняя, пожалуй что и не так уж интересная, а вторая была у всех в памяти. В пересказе косарей выглядела она примерно так:

«Проводил он ее, Семен, е одной котомкой. Увезла она в Москву только голос. Голос был звонкий, чистый, – откуда только берутся на свете такие голоса. А вернулась она – не узнать. Красавица. Повезло Семену на дочь. Ждал ее, ждал, не чаял дожидаться: болезнь у него открылась трудная, безвыходная болезнь. А ее все нет. Не едет. Ну, конечно, бабы начали шуршать: вот, мол, она – дочерняя благодарность. Вот, мол, занесся старик, а его»а гордость и стукнуло. Выходит, что он вроде как пустобрех. «Ей теперь, говорят, не до него. Ей теперь подавай крепдешин и какао». Ну сами маете, бабы, они бывают острые на язык. Пристыдишь их – смолкнут, а не пристыдишь – такой разгон возьмут, что пушкой не остановишь. Да-а, а она-то приехала. И привезла Семену полную избу гостинцев. И хоть недолго ему оставалось жить, а прибрала она его, выбелила избу, как игрушку. Бабы, конечно, притихли и ударились в другой край – не наглядятся, не нахвалятся Аннушкой. Как она выйдет на улицу, так по всем избам только и слышно что бабье пение да умиление. Непоследовательный народ! Завидовать начали Семену. А чему завидовать? Человек вот-вот погаснет, как свеча. Ветер дунет – его и нет. Но правда, умер в счастии. И вот подумайте, как это радость крепко действует, – Семен-то даже начал помалу ходить. Хоть и трудно, а нет-нет, да и выползет из избы,

на Аннушку опирается. Отдыхающие, значит, дознались про все и стали просить Аннушку, чтобы она сделала им уважение и спела бы у них в доме. Аннушка была обходительная – она, конечно, согласие дала. И вот был концерт. Мы на нем все были. Посетителями. Все село явилось. Ведь Аннушка не только Семенова – она наша, деревенская. За Семеном директор прислал лошадей. То, бывало, у него лошадей не допросишься, очень уж экономный мужик, а тут – пожалуйста! Сам за Семеном приехал. Пришли мы, а весь дом пылает – столько ламп, свету, а кругом одни букеты из листьев осенних. И все отдыхающие, как в праздник: женщины в тонких платьях, все шуршат, у всех блеск, духами удивительно пахнет. «Ваша Аннушка, говорят, наша гордость». Вот она какая нынче, жизнь! Живем во всю силу возможностей. Ежели талант, го ему дорога не к князю Орлову, а на весь белый свет. Да-а! Вошла Аннушка в зал с Семеном, и встретили ее! Уж неведомо, кого так встречают. Затруднительно даже сказать. Как принцессу. Конечно, принцесс теперь нету, но для нас она как своя принцесса. Пела она так, что слушаешь – весь дрожишь. А Семен, чудак, сидит, слез не вытирает. «Мне, говорит, за труд моей жизни теперь облегчение». Жалко, не удалось ему даже малость пожить: умер он через неделю. Уснул – не проснулся. Легкая смерть. Хоронили его, день был ясный, тихий и до того теплый, бабочки над пажитями так и вились, играли. А взглянешь на небо – паутина, как пряжа. Бабье лето! Реки, пруды стоят синие, и воздух

над землей такой чистый, будто его и нет совершенно. И весь парк в сухости листа, в солнце. Легкая смерть! Да-а... Уехала Аннушка. И посулили мы ей светлой жизни, – иначе оно и быть не может».

Косарь, что рассказывал эту историю, замолчал. Молчали и все. Только высоко на вековой липе осторожно свистела иволга, будто соглашалась: «Так и будет! Так и будет!»